

ВОЕННАЯ БОЕВАЯ
ФАНТАСТИКА

**АЛЕКСЕЙ ВЯЗОВСКИЙ
СЕРГЕЙ ЛИННИК**

САПЕР

Москва

УДК 821.161.1-312.9
ББК 84(2Рос=Рус)6-445
В99

Серия «Военная боевая фантастика»
Выпуск 18

Иллюстрация на обложке *Владимира Гуркова*

*Выпуск произведения без разрешения издательства
считается противоправным и преследуется по закону*

Вязовский, Алексей; Линник, Сергей

В99 Сапер: роман / Алексей Вязовский, Сергей Линник. — Москва: Издательство АСТ; Издательский дом «Ленинград», 2022. — 352 с. — (Военная боевая фантастика).

ISBN 978-5-17-149751-4

Он свою войну прошел. От и до. Начал в сорок первом, закончил в сорок пятом в Берлине. Но судьба дает ему второй шанс. Зачем? За ответ придется заплатить кровью. И своей, и чужой.

УДК 821.161.1-312.9
ББК 84(2Рос=Рус)6-445

ISBN 978-5-17-149751-4

© А. Вязовский, 2022
© С. Линник, 2022
© ООО «Издательство АСТ», 2022

Глава 1

В шесть утра резко и отрывисто прозвучали удары в дверь нашего барака.

— Подъем! — закричал дневальный, первым занимая очередь к параше.

Зэки, кряхтя и сплевывая на пол, посыпались со шконок. Солнце едва-едва показало свой краешек в зарешеченном окне. На небе не было ни облачка — день обещал быть жарким.

— Смотри, опять рюхаются¹. — Пятно кивнул в сторону «политического» угла. Там у нас жили «зеленые братья». Десяток хохлов и прибалтов из УПА, Движения борьбы за свободу Литвы и прочих воинов свободы, которые досиживали свое по 58-й статье.

— Когти тебе надо рвать, Сапер, или выламываться из лагеря, — сверху спрыгнул Босой, принялся наматывать портянки. — Замочат. Зуб даю, посадят на пику.

Пятно и Босой были моими соседями по шконке. Первый имел большое коричневое пятно на лысой голове, за это и окрестили. Второй вор

¹*Рюхаться* — договариваться о криминальном деле на тюремном жаргоне.

носил фамилию Босотов. Тут уж сам бог велел ему стать Босым или Босотой. Последнюю кличку худой, жилистый мужик не любил, сразу лез в драку. Махался он не очень умело, но активно — размазывая кровавые сопли, поднимался с пола, любил использовать грязные приемы.

Я перехватил взгляд Петлюры из «зеленого» угла. Бородатый, квадратный мужик со шрамом через весь лоб провел ногтем большого пальца по шее. Упашники вокруг засмеялись.

— Возьми на себя какое-нибудь дело, — продолжал бубнить Босой. — Отведут в оперчасть, а там ушлют на следствие в райцентр. Или больным скажись...

Из барака вышли двое. Помбригадира потопал к хлеборезам — следить, чтобы те нарезали честно пайки. Бригадир пошел в штабной барак за разнарядкой. Две последние недели мы валили деревья в густом лесу Львовщины — тут начали строить какой-то секретный объект. Обнесли два гектара колючкой, нагнали военных. Кум ходил по лагерю запуганный — по его душу приезжали из Москвы проверяющие. Никаких посылок, писем из дома — эки жили в полной изоляции.

— Ушлют вперед ногами, — хмыкнул Пятно, натягивая робу.

— Харэ базарить, — оборвал я уголовников, разминая шею. Стычка с торпедами Петлюры могла начаться прямо у параша. Но не началась. Я спокойно оправился, умылся.

У параша уже ругались оба дневальных — кому выносить дерьмо. В барак заглянул Казах.

— Пэ — трэнадцать-трэнадцать, — увидев меня, скомандовал надзиратель. — На выход.

— С вещами или....

Я уставился в узкие глаза Казаха. На его безволосом лице не было ни тени эмоций.

— Или...

Мы прошли мимо высокого забора БУРа¹, миновали больничку. Как оказалось, Босой накаркал. Вели меня через весь лагерь в оперчасть.

Без задержки повели сразу в кабинет к куму.

— Осужденный Пэ тысяча триста тринадцатый, — начал представляться я, но меня тут же прервали.

— Садитесь, Петр Григорьевич, — молодой мордатый начальник оперчасти кивнул Казаху на дверь. — Подожди в коридоре.

Надзиратель вышел, я сел на колченогий стул, что стоял у рабочего стола опера. Звали его Подгорным Евгением Степановичем, служил он у нас всего полгода в звании капитана. Трижды мы имели с ним продолжительные беседы, в ходе которых однофамилец известного чиновника из ЦК КПСС настойчиво предлагал мне стучать на сидельцев барака. В первую очередь его интересовали политические.

— Поймите, Петр Григорьевич, — объяснял мне Подгорный. — Зэк вы авторитетный. Не в смысле вор — этих у меня полная картотека, а в том смысле, что уважаемый человек. Все на зоне знают вашу историю, ваши подвиги на фронте и где-то даже сочувствуют. Доверяют вам свои тайны.

¹БУР — барак усиленного режима.

— Стучать не буду, — сразу отказался я.

— А стучать и не надо. Надо информировать. И только о самых важных делах. Мелочи меня не интересуют. Например, о подготовке побега. Ведь если уйдут в леса политические, худо будет всем! Стукачей у меня полно, а вот правильных, толковых людей мало!

Кум мягко стелил, заходил с разных направлений. Обещал послабление режима, похлопотать об амнистии.

Я на это лишь криво улыбался. Подгорный листал мое личное дело, притворно качал головой, зачитывая приговор, в котором меня лишили всех воинских наград:

— И этот вопрос порешаем. Сейчас активно идет реабилитация заключенных.

— Ко мне это не относится, я же не репрессированное лицо.

В тот раз надавить на меня Подгорному не удалось. Не верь, не бойся, не проси — старое арестантское правило служило уже многим поколениям зэков. Но сейчас все повернулось иначе.

— Не передумали, Петр Григорьевич? — широко улыбнулся мне кум, запирая сейф. Над ним висел портрет Хрущева, справа от него поблескивал очками Дзержинский, слева хмурился Ленин.

— Я этих гнид на фронте не боялся, а уж сейчас подавно.

— А я слышал, что у вас конфликт случился с Петлюрой. Да и такой, что теперь вам в одном бараке не ужиться...

Гнида мордатая! Наверняка он и слил Петлюре мое участие в «Большой блокаде» в составе войск Львовского округа. Нас тогда придавали на усиление подразделениям НКВД — гоняли «лесных братьев» по всей Западной Украине. А самой операцией — я посмотрел на бабье лицо на портрете — руководил как раз Хрущев.

Я откинулся на стуле, закрыл глаза.

— Именем Украинской Советской Социалистической... — бубнящей скороговоркой трещал судья. Можно было не слушать, что он там рассказывает — слово в слово повторяет прокурорских. Только одна из народных заседателей, лет пятидесяти, полноватая русоволосая женщина в нелепой блузке со странным, будто перекошенным воротником, почему-то мялась и время от времени смотрела на меня непонятно. Не посмотрелась за время суда, что ли?

— ...к пятнадцати годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительно-трудовой колонии строгого режима, — наконец закончил судья.

Я с облегчением вздохнул: за время чтения приговора ноги немного затекли. Молоденький милиционер, стоявший рядом со мной, почему-то очень нервничал при любом моем движении, даже когда я просто переступал с ноги на ногу, и хватался за кобуру пистолета. Наверное, боялся, что я сейчас кого-нибудь разорву и съем. Его, например. Так что стоял я не шевелясь, а то вдруг паре-

нек с перепугу доберется до пистолета и начнет стрелять куда получится. Случайный рикошет — и мне светит вышка.

Народная заседательница, оказывается, ждала конца чтения приговора, чтобы тихо, когда меня уже выводили, задать свой вопрос:

— Как же так, Петр Григорьевич, как вы могли? Вы же фронтовик, всю войну прошли...

— Да я, дорогая моя, эту гниду сколько раз нашел бы, столько и задавил. Потому как раз, что фронтовик.

Я очнулся от воспоминаний, посмотрел на Подгорного.

— Погоны не жмут, капитан?

— *Что?!!*

— Я говорю, кто ты такой мне предлагать такое? Я до Берлина дошел! Дважды ранен был! Смерти в глаза смотрел — как в твои пороссячи зенки.

Капитан покраснел, подскочил, уже даже рот раскрыл, потом внезапно успокоился, криво улыбнулся:

— Ну, ты сам выбрал свою судьбу, Громов. Эй, надзиратель! Обратнo в барак его!

Зашел Казах, мрачно произнес:

— Руки за спэну.

Я заложил руки, и мы пошли обратно. Солнце уже наполовину вылезло, вокруг пели птички, летали бабочки. Так не хотелось умирать...

— Эх, зря ты, Пэ тринадцаты, злил капитана, — вздохнул за спиной Казах. — Погибнешь тэпэрь.

— Иншааллах, — на автомате произнес я.

— Э-э... Ты арабски знаешь? — удивился надзиратель.

— Да нет, был у нас в роте один мусульманин, чеченец, так он постоянно повторял. Как начнут немцы бомбить, так сразу: «На все воля Аллаха».

— Сам-то в Бога веришь?

— В судьбу верю, — буркнул я, ускоряя шаг.

Казах повел меня не к бараку, а прямо к столовой, где уже, к моему удивлению, очереди на входе не было. Заходи и ешь. Я благодарно кивнул ему, поднялся на крыльцо.

Наш отряд был уже внутри, ээки сидели за тремя длинными столами, стучали ложками. Пробираясь через тесноту, от каждой бригады по три арестанта носили на деревянных подносах миски. Обрато уносили пустую посуду. Рядом ошивались «черти» — любители вылизать остатки. Кормили в лагере голодно, едва-едва давали норму, да и ту разворовывали.

Бандеровцы сидели на краю стола, нагло пялились на меня, ухмыляясь. Босой оставил мне место, и даже не тронутая каша стояла на своем месте.

— Пятно слышал, что ночью тебя убивать будут, — зашептал мне вор на ухо. — Уже и заточки из тайников перетащили в барак.

Я скрипнул зубами, вытащил ложку из сапога, принялся есть застывшую кашу. Босой вытащил из-за пазухи мою пайку. Живем! Или нет?

Вывели из зоны быстро, будто подгонял кто. То топтались перед стаканом по полчаса, пока конвой разродится, а сегодня не успели подойти, как уже и ворота открыли, и собачка рычит, слюни роняет. Знаю я тебя, Ладка, рычи, работа твоя такая.

Вот и счет пошел, щупленький сержант, преисполненный собственной значимостью, как на параде начал выкрикивать: «Первая пятерка... вторая... строй держим, сейчас назад загоню, если собьюсь!» Вот и прошли восемь пятерок и два шныря с ящиком обеденным в придачу. Всего сорок два, значит.

И до делянки быстро дошли, как на заказ — минут сорок, и отряд уже внутри временного ограждения. Двое часовых по углам, один возле ворот, остальные — у костерка, который тут же развели шныри.

Сегодня за вертухая Полищук. Странно, что он, не его смена. Он послезавтра, а сегодня Семенкив должен быть. Ну да нам не все ли равно? Хотя Полищук всяко лучше, этот хоть понапрасну горло не дерет. Видать, с женой у него все хорошо, не надо на эках доказывать, что чего-то стоишь.

Вертухай раздал инструмент — кому пилы, кому топоры. Народ привычный, разобрали свое да разошлись, объяснять не надо, про норму и прочую байду уже давно запомнили, каждый день шесть дней в неделю эту сказку рассказывают.

Только меня старшина тормознул. Гыркнул так, что аж шнырь возле костерка подпрыгнул:

— Громов, останься! Запаски подточись!

Не хрена там точить: на прошлой неделе только все подточил, и топоры, и пилы. И не трогали запаску с тех пор ни разу, не было нужды. Да наше дело маленькое: сказал вертухай, так зэк делает. Захочет, так три раза в день точить будешь.

Сел я, взял оселок, начал топор гладить. Изображать бурную деятельность. А Полицук стоит, самокрутку крутит, на конвой возле костра смотрит. И говорит тихо так, будто себе под нос песенку поет:

— Ты, Сапер, не думай, это не подстава. Я добро помню. Меня бы той миной, что ты из-под ног у меня, считай, вынул, если бы не убило, то покалечило точно. Я за тебя сам каждый день молюсь и семья моя возле меня. Уходить тебе надо. Прямо сейчас. Потрись недалеко, я тебя сейчас озадачу. А как трактор подгонят, я Мыколу отвлеку. Ты тогда ломись на заборчик под правой вышкой, они на обед там всегда часового без смены снимают.

Сижу я и тихо охреневаю. Не было никогда за Полицуком такого, чтобы он зэкам потакал. Лишнего не навесит, но и навстречу не пойдет. А про мину ту я и забыл уже — сколько я их снял и поставил за Войну, не сосчитать. Но старшина, значит, впечатлился тогда. Бывает. Послушаю, что он расскажет. Интересно поет, аж за душу берет.

— А там, Сапер, — продолжает Полицук, — бери правее и ломись прямо. Бежать с километр,

если больше, то не сильно. Дальше болотце будет. Ты его по правому краю обходи, там пройти можно. Увидишь слева островок с кривой сосной — затаись. Вечером сегодня, край — завтра, принесут тебе и одежду, и харчи. Паси, Громов, за трактористом, больше шансов тебе не будет. — И громче, для всех, добавил: — Что ж ты творишь, гад криворукий! Да тебе не то что пилу, жопу подтирать и то не доверишь! Давай, сучьев подтащи, разведи костер мне. А то я тут с вами от сырости околею скоро!

Полищук как с цепи сорвался, придирался к каждой мелочи, заставлял делать то одно, то другое. Так я и крутился неподалеку, ожидая, что будет.

Оно и случилось. Тракторист приехал с обедом вовремя. Пока шныри разгружали обед и выкладывали баранчики из ящика, Полищук и вправду отвел тракториста метров на пятнадцать в сторону, и прямо сейчас они ржали над какой-то шуткой. Старшина посмотрел на меня, мигнул левым глазом и начал рассказывать очередной анекдот.

Тут я и решил — пора. Один хрен от Петлюры никуда не денешься, придется решать, кто живой останется. А сколько самый справедливый суд в мире доведет за убитый кусок говна? То-то и оно. Даже если сейчас с побегом это подстава, то добавят все меньше, чем за убийство. Я быстро

прыгнул в кабину трактора. В секунду снял с ручника, выжал сцепление — и покатили!

Сзади закричал вертухай, к нему присоединился тракторист, сдуру пытающийся бегом догнать свой трактор, зэки вокруг замерли, охреневшие от такой наглости: побег на рывок белым днем — это, конечно, здорово и памятно, только глупо: враз заломают. Но я рулил к заборчику под правой вышкой, сколько там до него, метров сто, не больше. Тракторец бодро подпрыгивал на кочках, а на душе поднялось отчаянное веселье, будто мне все по плечу и будет, как я задумал. Даже успел подумать, что ради такого чувства можно и погибнуть.

Петлюра выскочил как черт из норы. Откуда он только взялся? В руке топор, на роже ухмылка — дождался, значит. Завалит меня, а ему еще и послабление за предотвращение побега нарисуют. Только что-то не так пошло в его уродском счастье — наверное, поскользнулся на сырой траве и, нелепо взмахнув руками, начал заваливаться на бок, задрал в падении ногу, обутую в аккуратно собранный гармошкой кирзач. Ну а я поворачивать не стал. Левое переднее колесо перевалило через его ноги, и мне даже послышался хруст костей и вопль, полный муки. Чепуха, конечно, за шумом тракторного двигателя и выстрел не услышишь, а тут чьи-то ноги. Как проехал задним колесом Петлюру, я, конечно, почувствовал. Не выдержал, оглянулся — успеваю, далеко отъехал. Включил заднюю и прокатился по гниде еще раз взад и вперед. Мальчишество, конечно, но очень уж допек он меня.

Заборчик рухнул без сопротивления. Да кто его сильно крепил? Так, прибили на три гвоздя, чтобы ветром не завалило, натянули колючку, и все дела. Конвой наконец-то решил, что пора стрелять. Кто-то пустил очередь патронов на десять в белый свет. Стреляй, солдатик, тренируйся.

Деревья начинались метрах в двадцати от ограждения. Там я и ломанулся пешком. Правее и прямо, как сказал Полицук. Не факт, что правду сказал, вертухаю верить нельзя, ну да чем не направление.

А вот и собачка прибежала. Иди, Лада, от греха подальше. Ты не Петлюра, тебя мне жалко, но если что — моя жизнь мне дороже. Ладка оказалась умнее, чем казалась, и убежала вдаль после первого же живительного пендаля.

Под ногами зачавкало болото. Пойдем по правому краю, как старожилы рассказали. Вон вроде и сосна кривая видна. И тут нога поехала на кочке, и я нырнул. Болото приняло меня как родного — ушел под тину с головой.

В ушах зашумело, в глазах появился какой-то блеск. Я рванул изо всех сил вверх, буквально выпрыгнул из трясины. Канула в глубину зэковская роба, сползшая с плеч. Да и хрен с ней, невелика потеря. Не про тряпье думать надо, а как живым остаться. Тут же полез к берегу, хорошо, за траву какую-то удалось зацепиться. Вылез на сухое, отдышался. Что-то тихо в лесочке, сейчас тут натурально цирк должен твориться, а ни звука не слышно. Куда же погоня делась?

— А ну стой!! Руки вверх!

Таки не пустой лес оказался. Передо мной, на крутом берегу стоял молодой парень в пограничной форме и целился из «мосинки». Не целился даже, так, держал ствол в моем направлении, но, судя по тому, как держал, было понятно, что не промахнется. Да с трех метров и ребенок попадет. Я посмотрел чуть выше. На гимнастерке в петлицах я увидел два треугольника, один кривовато пришитен, недоработочка. Треугольника?!

— Имя, фамилия, год рождения...

Лейтенант НКВД лицом очень напоминал Подгорного. Такая же ряха — поперек себя шире, поросячьи глазки. Только вот кубари в петлицах, портрет Сталина на стене и старый черный телефон на столе намекали, да что там намекали, кричали: «Громов, ты в жопе!»

Осознание, что я в прошлом, пришло быстро, еще в погранотряде. Стоило только увидеть полуторку с деревянной будкой вместо кабины, из которой бойцы вытаскивали какие-то ящики, прозвенел первый звоночек. Второй колокол ударил, когда мы проходили мимо старинного репродуктора-раструба — передавали «Марш энтузиастов». Орлова бодро так пела про журавлей:

...Высоко, под самой тучей,
Над просторами полей
Держит к югу путь летучий
Вереница журавлей...

— Эй, боец, — я обернулся к пограничнику, что конвоировал меня, — какой сейчас год?

— Иди, не задерживайся! — сержант ткнул меня дулом «мосинки» в спину.

..Строит строй за птицей птица,

— продолжала петь Орлова:

Лишь одна из них порой
Заробееет, заботится
И нарушит строгий строй...

Я тоскливо посмотрел в небо. Нет, журавлей там не было. «Строгий строй» нарушал тут только один я.

Меня завели в одноэтажный домик, на крыльце которого стоял часовой. Тоже пограничник в старой форме.

Внутри пахло армейкой — гуталином, оружейной смазкой и портянками. По длинному коридору — почти казарменной «взлетке» — мы дошли до оббитой коричневым дерматином двери, рядом с которой висела доска с газетой «Правда». Я кинул быстрый взгляд. 8 июня 1941 года. «Блестящий успех займа», «Высокая активность советских колхозников», «Крайком партии об охране общественных земель» — глаза выхватывали заголовки, мозг категорически отказывался воспринимать действительность.

— Товарищ командир, нарушителя границы поймали. На третьем секрете, — сержант распахнул дверь, подтолкнул меня внутрь аскетичного кабинета — стол, два колченогих стула, шкаф

с книгами. За столом сидел плотный, лысый старлей лет сорока, быстро что-то писал перьевой ручкой.

— Заводи.

На меня уставились внимательные карие глаза.

— Обыскивал?

— Никак нет.

— Карпов! — старлей вспыхнул. — Сколько раз говорил!

— Виноват, товарищ старший лейтенант! — сержант вытянулся по стойке смирно.

— Обыщи.

Сержант с сомнением осмотрел мою грязную майку-алкоголичку, охлопал карманы рабочих брюк. Достал из голенища сапога алюминиевую ложку. Показал ее старлею.

— Ясно. Два наряда вне очереди, Карпов!

— Есть два наряда, — лицо сержанта погрустнело.

— Свободен. А вы... присаживайтесь, — лейтенант кивнул на стул. — Как вас зовут, почему нет документов, с какой целью перешли государственную границу? По-русски вообще говорите?

Вопросы сыпались на меня как горох, но что отвечать — я не представлял. Врать, что я польский пролетарий, сбежавший от новых хозяев Европы в Союз? Так я по-польски не говорю.

— Почему молчите? *Mówisz po rusku?*

— Может, вы представитесь? — нарушил я молчание.

— Отлично! — лейтенант плотоядно заулыбался. — Значит, по-русски все-таки говорите!

— Ты не лыбься, командир! — не выдержал я. — Через две недели немцы будут ровнять твою заставу с землей. Гражданские есть в отряде? Женщины, дети?

— Здесь вопросы задаю я! — лейтенант перестал улыбаться, побледнел.

— Увози детей и жен. Придумай что хочешь, но убери гражданских с заставы!

Лысый побарабанил пальцами по столу, задумался.

— Так, давайте еще раз. Меня зовут Алексей Поперечный, я — заместитель начальника славутского погранотряда. Представьтесь, назовите цель перехода границы.

Я замолчал, закрыл глаза. Все бесполезно. Они не поверят. Каждый день в «Правде» пишут, что мы с немцами друзья, у нас Пакт. А кто говорит иначе — выкормыш мировой буржуазии, которая спит и видит стравить СССР и Германию. Кому поверит Поперечный? Мне или «всем радиостанциям Союза»? Риторический вопрос.

— Не хотите говорить? Что ж... Придется передать вас следователям НКВД. Там по-другому разговаривать будут.

Поперечный пристально посмотрел на меня. Ага. Напугал ежа голой задницей.

— Н-на! — в ухо прилетел кулак мордатого энкавэдэшника. Я рухнул на пол, закрываясь руками. Их почему-то мне сковали наручниками

спереди. Недорабатывают в органах. В голове зашумело, к горлу подкатила тошнота.

— Встал!

Я поднялся с окровавленного пола, упал на табуретку. Отбивную из меня младший лейтенант делал уже второй час, перемежая избиения с угрозами и уговорами.

— На кого работаешь? Кто приказал устроить провокацию на государственной границе?

Я потрогал через разбитую губу левый клык. Зуб качался.

— Это ведь я только так, разминаюсь. Сейчас подойдет старший лейтенант Шилов — у него разговор короткий, защемит тебе яйца в двери, сразу запоешь. Давай, колись...

— Двадцать второго июня, в четыре часа утра... — уставшим голосом начал опять рассказывать я, — на Советский Союз нападет фашистская Германия. Вместе с союзниками.

— Какими, б...дь, союзниками?! — закричал следователь. — Что ты мне эту пургу гонишь?!

— Румынией, Финляндией, Италией...

— Пилькин! — В дверь заглянул коротко стриженный седоватый мужчина с двумя прямоугольниками старшего лейтенанта в петлицах. — Ну-ка выйди на минутку.

Мой мучитель подскочил, заспешил на выход, грозя мне пальцем. Дверь захлопнулась, но я тут же рванул к ней, приложился здоровым ухом.

— ...работаешь по-старинке! — бубнили в коридоре. — Нарком запретил такие методы в ходе следствия.

— Товарищ старший лейтенант! Очень подозрительный субъект, имени своего так и не назвал, зато заливает про нападение Германии! Прямо ход всей войны придумал и пересказывает по пунктам.

— Не сумасшедший?

— Не похож. Скорее провокатор. Заслали к нам, чтобы поджечь по новой границе население... Хотя кто ж его знает, я что, психиатр, что ли?

— Ты вот что, Пилькин... Отправь-ка его на освидетельствование в львовскую психбольницу. С конвоем! Если врачи подпишутся, что не псих, продолжим. Я сам его «поспрашиваю».

Глава 2

Ворота были закрыты. Энкавэдэшник, сидевший возле меня, высунулся из машины и закричал:

— Эй, кто там, открывайте! — в конце он дал петуха, что вызвало жизнерадостный смех его коллег.

— Сходи ногами, Кондратьев, — предложил ему пожилой усатый водитель. — Сторож, наверное, спит где-то. Только мухой, нам еще из этого Кульпарка назад ехать, хотелось бы засветло.

— Слышь, как тебя там, табачком не богатый? — спросил водитель, когда Кондратьев, протиснувшись в полуоткрытую калитку, скрылся за яблонями, густо росшими сразу за забором.

— Не курю, — буркнул я.

У хитрована в кармане был здоровенный, наверное, стакана на два, кисет, а вот халявку поискать не стеснялся даже у такого зэка, как я.

Тут послышался голос Кондратьева, опять сорвавшийся на последнем слове. Ему отвечал чей-то хрипловатый баритон, оправдывающийся тем, что возле ворот целый день не устоишь и рабочему человеку положено сходить до ветру.

Ворота со скрипом открылись, сторож с вислыми казацкими усами придержал створку, и наша «эмка» заехала внутрь. За углом двухэтажного здания, недавно выбеленного, машина остановилась, и водитель сказал:

— Приехали, землячок, тебе сюда.

Наконец-то я увидел, куда меня везли. Возле двери был прибит лист фанеры, на котором было аккуратно написано «Львівська обласна психіатрична лікарня». Как тот старлей и обещал. Ну да ладно, где наша не пропадала? Дурдом — не тюрьма, выход найдется.

Оформили меня быстро, никакой волокиты. Больше всего времени заняло описание синяков и ссадин. Одна медсестра с линейкой мерила длину и ширину кровоподтека и диктовала это другой, которая, высунув язык от напряжения, записывала данные на большой лист. Большой список получился. Внушительный. Листок даже переворачивать пришлось. Определили в третий корпус, в отделение судебной психиатрии. Плавали, знаем. Знакомая процедура. Помнится, в пятьдесят девятом доктор Кузмин вел долгие беседы со мной, чтобы у суда не было никаких сомнений, что первый секретарь райкома партии был удушен мною в полном сознании. Хороший доктор был, даже домашними пирожками угощал. Или будет? Тут и ученый запутается, где у меня прошлое, а где будущее.

Одно хорошо: на судебке никакого лечения не положено, только наблюдение, так что ни электрошок, ни инсулин, ни другие выжигающие моз-

ги в пепел процедуры мне прописывать не будут. А за две недели с копейками я отсюда лыжи навоюю — ждать, пока придут немцы и начнут вместе с оуновцами радикально лечить психов с помощью свинца, не хочется.

Наконец-то переделали в чистое. Бельишко, конечно, не первого срока, но крепкое. Коротковаты подштанники, но не до жиру, походим и в таких. Халат байковый дали, войлочные тапочки, милое дело. Как покормят, так совсем жить можно.

До отделения довезли энкавэдэшники на «эмке». Пешком далековато вышло бы шагать. Где-то по пути даже рельсы переехали. У них тут что, поезд по больнице курсирует? Само отделение занесли аж на третий этаж. При высоте потолков за три с половиной метра из окна сигануть можно, только если у тебя есть крылья. Да и для того, чтобы окно открыть, надо бы сначала куда-то убрать решетку, прибитую изнутри. У меня крыльев нет, так что окна с решетками меня не сильно расстроили. Мы — люди простые, по земле пойдем. Спешить пока некуда, надо осмотреться, прикинуть, что к чему. В войлочных тапочках и байковом халате по лесам не побегаешь.

Первые сутки я просто бездельничал. Спал, ел, бродил по отделению, знакомился с обстановкой. Ну вот, уже вылезло войсковое. «Знакомился с обстановкой», надо же. Да я уж лет двадцать и не думал так, надеялся, видать, что все, отвое-

вался, позади все. А глянь, к суме и тюрьме война добавилась. Старая, но от того не менее ужасная поговорка.

Всего в отделении двадцать шесть человек на экспертизе. Я — двадцать седьмой. Все в двух больших палатах, в каждую из которых вошло бы коек двадцать. Лишних кроватей нет, мне принесли и поставили. Умно придумали, наблюдать легче, уединиться можно только на толчке, да и то ненадолго, санитар зайдет и подгонит, чтобы не рассиживался.

Персонала в отделении немного, на смене одна медсестра и три санитары. Доктор, сказали, завтра будет. Да хоть через неделю, я подожду, не гордый.

Накурено, конечно, в отделении. Санитары гоняют дымить на толчок, но всегда есть хитрованы, которые и под одеяло залезут посмолить, чтобы с кровати не вставать. Или им запахло в сортире? Так грех жаловаться, канализация тут хоть и древняя, как говно мамонта, а работает как часы — слив воды, словно водопад, уносит все вмиг. Воняет немножко хлоркой, но глаза щиплет не от нее, а от дыма. Большинство сидельцев на экспертизе — люди небогатые, смолят дешевый табачок, а некоторые — и махру.

Есть, конечно, и прикинутые, со своими халатами, тапочками, один так даже в шелковой пижаме. Но это до того момента, как такой фраерок попадет в камеру. Хотя какая камера? Почти все здесь сидящие ни в камеру, ни на волю, наверное, не попадут. Или попадут? Мне до них дела нет,

сейчас каждый за себя. Я их не знаю, они — меня. Тут, как и в камере, не принято расспрашивать, как ты здесь оказался. А мне после зоны чужие статьи вообще побоку.

Мою кровать поставили на краю, поближе к столу, за которым сидела медсестра. И тут, как обычно. Новенькие поближе, чтобы видны были — а ну, если клиент буйный? Дня через три-четыре, если без приключений, и подальше передвинут. Я улегся поудобнее, чтобы синяки не беспокоить, и спокойно уснул. Нечего здесь больше делать пока, надо отдыхать. А на ужин разбудят, никуда не денутся.

Врач вызвал на следующий день, сразу после завтрака. В кабинет завела санитарка, вышла, но дверь оставила приоткрытой. Понятное дело, чтобы успеть, если больной чего надумает. Доктор лет сорока с прицепом, но уже с сильно прореженной шевелюрой, худой как щепка и с такими усталыми глазами, что, наверное, впору было ему спички вставлять, чтобы веки не склеились. На столе только скатерка белая и папка с моей фамилией, простенькая чернильница и дешевенькое перо.

Врач открыл папку, сверху лежал лист бумаги, на который вчера записывали мои «украшения». Он его посмотрел, перевернул, почитал и с обратной стороны и, ничего не сказав, отложил в сторону.

— Что же, давайте знакомиться. — Посмотрев на обложку истории болезни, он продолжил: —

Петр Григорьевич. Меня зовут Адам Соломонович, я ваш врач.

По-русски он говорил чисто, хоть и с сильным польским акцентом. Судя по возрасту, учиться начал при проклятом царизме, а потом, наверное, уже доучивался в Польше. А вот от советской власти, значит, бежать не стал, остался при своей больнице.

— Приятно познакомиться, — отвечаю. — Хотя и предпочел бы знакомство при других обстоятельствах.

Доктор пустую беседу поддерживать не стал, сразу приступил к делу. Пошли вопросы про то, кто я, откуда, где учился-крестился-женился. Я от своего года рождения просто двадцать лет отнял, а остальное так и осталось. Да и не старался я в подробности вдаваться. Тут есть фокус, которому меня научили еще тогда. Как надоест разговор, говори, что устал. Доктор так и запишет.

Синяки на лице сами за себя говорят: били человека, не отошел он еще.

Я так и сделал. Адам Соломонович не протестовал. Записал круглым, аккуратным, совсем не врачебным почерком, что подэкспертный разговор о биографии продолжить не смог, утомляем в беседе. Хоть и вверх ногами, а прочитать нетрудно. Я тебе, дорогой Адам, потом правду расскажу. Про Львов и про Бабий Яр. Или не расскажу. Посмотрим на твое поведение.

За обедом вертел ситуацию и так и эдак. Придумать себе правдоподобную биографию можно. Но в НКВД ее легко проверят — я сорокалетний

ну никак не впишусь в свои старые анкетные данные. Под психа закосить тоже не получится. Это только кажется, что симулировать легко. На самом деле прокальваются на мелочах. Симулянты демонстрируют взаимоисключающие симптомы, проговариваются «подсадным уткам» — у врачей есть и своя «агентура» в палатах, а главное, очень трудно долго изображать психа день и ночь. Устаешь, теряешь концентрацию. На экспертизу, конечно, месяц дают, но кто же знает, может, у них тут отработан скоростной метод. А это значит, что Адам через недельку может передать меня обратно «дуболобам». Те ни в какую «машину времени Уэллса» не поверят — слишком приземленные товарищи, и будут выколачивать признание в работе на польскую разведку. Желательно с подробностями — явками и паролями.

А если все-таки попробовать закосить? Выдать Адаму будущее — как я рассказывал бойцам невидимого фронта. Все прям по датам. Выглядит это как последовательный бред, врач будет следить и ловить на противоречиях. А это время. Двадцать второго начнется война, и вот тут психиатрам станет резко не до меня. И тем более НКВД.

А может, и поверит, кто ж его знает.

Решено. Так и буду действовать.

К атаке на психиатра я приступил с порога. Сегодняшний санитар, пожилой гуцул по имени Иванко, с таким кошмарным акцентом, что его

и местные не особо понимали и время от времени переспрашивали, к безопасности доктора относился гораздо проще. Привел меня, дождался, пока я сяду, да и пошел по своим санитарским делам. Адама это не волновало тоже, видать, глаз уже набитый. Хотя от психбольных только и жди сюрпризов, что хочешь могут сотворить. Но я же не псих, так что только поговорим.

После ухода санитара я встал и дверь в кабинет плотно прикрыл.

— Что это вы делаете? — удивленно спросил Адам. — Откройте дверь и вернитесь на место!

— Наш разговор не для посторонних, — сказал я, садясь на колченогий стул. — Двадцать второго июня немцы нападут на СССР. Двадцать восьмого советские войска оставят город, а тридцатого здесь уже будут немцы. И мало никому не покажется.

Доктор тяжело вздохнул. Наверное, не я первый предсказываю будущее в этом кабинете.

— Таким образом вам диагноз шизофрения получить не получится, — устало сказал он. — Хотите, чтобы заключение экспертизы дополнилось замечанием о попытке симуляции? Так это не трудно устроить.

— Двадцать второго, в четыре часа утра, — продолжил я, не слушая его, — точное время начала войны. Во Львове расстрелы евреев начнутся в первый же день, как немцы войдут в город. А до этого националисты займутся погромами. За июль будут расстреляны более десяти тысяч евреев. А еще немцы расстреляют полсотни про-

фессоров университета. Вместе с семьями. А потом — гетто и ношение желтых звезд. Знакомая история? По глазам вижу, что знакомая. В гетто сгонят почти сто тысяч человек, а после освобождения Львова в сорок четвертом из канализации выйдут всего человек триста.

Оказывается, политинформации отрядного замполита бывают полезными. Вроде и не слушал, а в памяти много осталось. Надо давить доктора еврейской темой, пускай проникнется.

— Что за чепуху вы говорите? — Адам уже не был таким уверенным. — Как можно... сто тысяч?..

— Сто тысяч? Да в Львовской области погибших евреев триста тысяч будет! А сто пятьдесят тысяч расстрелянных в Киеве не хотели, доктор? А полтора миллиона на всей Украине? — Я вроде был убедителен, но врач держался. Оно и понятно, тут ему и не такое рассказывали.

— И откуда, позвольте спросить, это вам стало известно? — воззвал к здравому смыслу Адам. — Вы пророк? Предсказатель? Вам в руки попали откровения Нострадамуса?

— Не знаю никаких... как вы его там назвали, Адам Соломонович? Нострадамуса. И никакой я не пророк. Я уже эту войну пережил один раз. Знаю, о чем говорю.

— И чем вы это докажете? Почему я должен вам верить? — психиатр скептически хмыкнул. Вернулся на грешную землю. Не смог я его убедить с первого раза.

Я начал вспоминать, что же такого было вот прямо перед войной, что можно проверить.

И вспомнил: вот оно, мимо этого ни один советский человек не прошел. Все это узнают.

— Тринадцатого июня, дорогой доктор, будет опубликовано заявление ТАСС, что слухи об ухудшении отношений с немцами — ложь и провокация. Тринадцатого, не забудьте.

— Хорошо, Петр Григорьевич, в сроки проведения экспертизы это укладывается. Но запомните: если это окажется враньем, я не прощу. Верну вас туда, откуда привезли, в тот же день. Все брошу, а заключение напишу. Такое, знаете, правильное заключение!

— Согласен, Адам Соломонович, — я протянул ему руку, вставая. — Договор?

— Договор, — немного удивленно ответил психиатр и, чуть замешкавшись, пожал-таки мне руку.

В конце дня меня перевели к окну, а на мое место возле сестринского поста поставили еще одну кровать, для новенького. Соседом оказался немой парень, которого все называли Вовчиком. Лет двадцати, чем-то похожий на цыгана, наверное, из-за смуглой кожи и темной курчавой шевелюры. Странно, но Вовчик только не разговаривал, но все хорошо слышал и понимал. Он охотно помогал санитарам мыть полы за табак, более того, считал это своей привилегией.

Я был свидетелем того, как один парень подошел к гуцулу Иванко с предложением помыть ту-

алет, и Вовчик полез на инициативника с кулаками, чтобы тот не лишал его законного заработка.

Иванко, вертухайская душонка, только посмеивался, глядя на то, как больные друг друга мутузят. Запомню, от таких любой подляны можно ждать.

Охотник покурить за бытовые услуги оказался сильнее, повалил Вовчика на пол, начал пинать ногами. Тут уже я не выдержал, отогнал его, выдав пару легких плюх. Немой поплакал, сидя на корточках в углу палаты, потом подошел ко мне и погладил руку, заглядывая в глаза.

Что больше всего тяготит в вынужденном безделье, так это скука. Книг и газет нет, в шахматы я не играю, остаются только прогулки утром и после обеда. Вести с кем-то беседы не хотелось: кто их знает, что тут за люди? Ты им что-то скажешь, они потом стуканут и приукрасят вдобавок ко всему. Лучше пусть докладывают, что Громов к общению с соседями по палате не стремится. Это про меня доктор Кузмин в прошлый раз написал. Кто знает, вдруг Адама завтра сменит кто-то другой?

Прогулки в больничке — почти как в тюрьме. Только дворик побольше и попки на вышках не стоят. Вышли не все — некоторые остались лежать на своих койках. Да их особо и не уговаривали: хочешь — гуляешь, не хочешь — и не надо. Все тихо и спокойно, две санитарки следят за порядком: чтобы не дрались, не бегали да не справляли нужду под забором. Люди в основном просто сидели и лежали на травке, наслаждаясь покоем

и летним солнышком. Таких, кто, как и я, нарезал круги по периметру, было всего трое. Видать, тоже сидельцы, привыкли в крытке использовать любую возможность размяться.

Вовчик на прогулке ходил за мной как привязанный, время от времени забегая вперед и улыбаясь. За что он здесь? Наверное, за мелочовку какую-то, украли стожок сена или пару курей, Вовчик за компанию, вот и угодил на экспертизу, раз немой и с головой не все ладно. Смешной он. Вроде щенка, такой же безобидный и бестолковый.

Наверное, от нечего делать на следующий день я стал с ним разговаривать. Вовчик слушал, улыбался и... да ничего он не делал. Отличный собеседник, ничего не расскажет и никому не наступит — писать он не умел, по крайней мере, так мне ответил. Я после десятка кругов под забором сидел в углу прогулочной площадки, подальше от основных маршрутов прогулки остальных постояльцев отделения судебно-психиатрической экспертизы. Площадка большая, места всем хватает.

Слово за слово, и я поймал себя на том, что рассказываю Вовчику про свою жизнь, что так непутево вильнула хвостом в конце. Да что я себя пытаюсь обмануть? Себе рассказываю, конечно, а не этому хлопчику, у которого мозгов только и хватает на то, чтобы поесть, покурить да прильнуть к кому-нибудь, чтобы его защитили. Не станет меня — забудет через день.

Про детство легче всего вспоминать: самая беззаботная пора, единственное время, когда все

хорошо было. И родители были живы, и сестренки. Потом уже, когда в школу пошел, узнал, что мы живем возле Запорожья, на Украине. А до того мне хватало, что село наше называется Гаевка, а через овраг уже Хомуты, которые не село, а деревня, и живут там странно говорящие люди, как они себя сами называли — дойчи.

Странную речь я потом выучил, болтали мы с соседями на гремучей смеси украинского, русского и немецкого. Про то, что знаю немецкий, я потом помалкивал, как и про все остальное. Было про что молчать. Потому что отца моего застрелили те, кто в тридцать втором забирали зерно под чистую. А до конца лета тридцать третьего из нашей семьи дожил я один. Мать и трех сестер похоронили. Сильно приросло наше кладбище в тот год. Меня взяла к себе тетка по матери, спасибо ей, конечно, что не сдала в приют и не выгнала на улицу. Хотя что я говорю, у нас родня своих не бросала никогда. Любви особой не было, но жил я у нее, пока на ноги не встал и не пошел сам себе на жизнь зарабатывать.

Дойчи из Хомутов в тридцать седьмом почти пропали. Кого-то арестовали, несколько семей выслали, а многие сами уехали, не дожидаясь, когда им помогут. Я тогда уже в Запорожье перебрался, на заводе работал учеником токаря. Возвращаться в Гаевку было не к кому: с теткой так близки и не стали, передавал с земляками приветы для порядка да пару раз открытки на праздники отправил. Ответа от нее ни разу не получил. Так до сорокового года и жил — с работы в барак,

с барака — на работу. Как в болото меня засосало, ни к чему не стремился. Раз в месяц после полочки с мужиками из бригады в пивнушку сходить. Даже с девушками не встречался. Вот веришь, как по течению плыл.

А в июне сорокового меня призвали в армию. Вот тут рядышком я и служил, под Ровно. В саперах. Вышел из киевского котла, вяземского... Пятились до самой Москвы. Потом, конечно, спохватились вломили немцам. Под Сталинградом и Курском добавили. Заканчивал войну в Берлине, потом еще сверхсрочно прихватил, как раз здесь же.

Интересно, есть тут молодой я? Задумался. Нет, даже думать не буду, что может случиться, встретить я себя. Или, оказавшись здесь, оттуда я исчез? Нет, Петя, даже думки эти из головы выбрось. Живи как живешь.

Про войну я даже Вовчику не стал рассказывать. Не хочется лишний раз вспоминать. Кровь, грязь, дерьмо и вши. И мертвые, день за днем, до самого конца. Скоро и так окунемся в это добро с головой, зачем себя лишний раз изводить?

Зато про послевоенное житей я с удовольствием рассказывал. Сколько лет уже не вспоминал, а сейчас как вживую все передо мной. Возвращаться в Запорожье я не стал — не к кому, не осталось даже дальней родни никого. Соседи как-то отписали, что тетка, у которой я рос, померла

от голода весной сорок третьего, и даже могилы ее нет. И до того почтальона не ждал, а после этого и забыл, для чего он нужен.

Армейский дружок мой, Митька Савин, уговорил меня податься с ним в строительную артель, в которой заправлял его дядька, Аркадий Васильевич. Тот еще жук был, но десять лет с ним как бы не самые беззаботные в моей жизни получились. Пахали как проклятые, конечно, но и зарабатывали дай боже каждому. От нас требовалась только ударная работа, а про остальное переживал Васильич. И про еду, и про жилье, и про отдых. Каждый год, хочешь, не хочешь, а каждый в санаторий ездил. За счет артели. Во как жили! Не знаю, сколько там дядя Аркаша себе в карман положил, не мое дело, а мне хватало.

Кончилась лафа в пятьдесят шестом. Не то начальник наш не поделился с кем надо, не то просто не повезло, а посадили его быстро и без шума. Поехал Васильич тянуть свою пятерку в дальние края. Да ладно, лишь бы здоровья хватило, такой не пропадет.

А тут и указ подоспел, разогнали артели, так что впахивать с языком на плече нам разрешили, а зарабатывать как следует — уже нет. Не говоря уже про санатории. Подался я куда глаза глядят, устроился в Кременчуге на комбайновый завод слесарем. Они жилье давали не в бараке, а в общежитии. Да и ехать от последнего места нашей работы далеко не пришлось.

Пообтерся я на заводе, работа как работа. Присмотрел домишко в Крюкове, с артельных времен

кой-какая заначка осталась, переехал из общаги в свое жилье, живи да радуйся. Да и пора уже, срок скоро, а я один. Тут и встретил Ниночку свою.

Ох, до чего ж я счастлив был, как пацан какой-то! Света белого не видел, она мне все застила. Да я не знал, с какой стороны подойти к ней! Как же хорошо с ней было, не представишь даже себе!

Ниночка была чуть младше меня, на четыре года. Замуж вышла перед войной, в Кременчуге же. Да только мужика ее при бомбежке убило. Летом сорок первого, когда немцы переправу брали. Так и прожила она вдовой, пока мы не встретились. Вот тогда и понял я, что жизнь только начинается.

Расписались с ней, в дом свой привел ее. Начали мы там, как в сказке, жить-поживать. С работы каждый день как на крыльях летел, увидеть ее побыстрее. Эх, не мастак я про любовь и счастье рассказывать.

А порушил все я, выходит. Не надо нам было тогда на Днепро идти. А я такой: «Давай, Ниночка, сходим, посидим на бережку, отдохнем». И пошли. Взяли винца бутылочку, закуси какой-никакой, не помню уже, что. Днепро-то, вот он, рядом совсем, с пригорка спуститься. Сидели, отдыхали культурно, любовались видами, и тут эти приехали. Нет бы мне, дурню, собраться да уйти, так нет, сидел как баран. Приперлись такие, на «Победе», втроем, пьяные уже, шуметь начали. На нашу беду, пристали к нам: «Выпейте с нами, праздник у нас!» А хрен этот, Давыден-

ко, это я потом узнал фамилию, на Нину все смотрит, облизывается аж, сволота. И снова ошибка моя: бежать нам оттуда надо было сразу. Нет же, слово за слово, сцепился я там с этим самым главным, в ухо ему дал. Да дружки его мне по голове и стукнули. Очнулся я, а Нина моя — нет ее. Лежит только тело, платье разорвано, побита вся и не дышит. Свет белый мне в копейку сошелся вмиг. Как же так? Кто у меня счастье мое украл, кто жизнь мою в дерьмо втоптал? Ведь только утром сегодня солнце нам светило! Я аж завыл там, возле судьбы моей, в грязь втопанной! Куда идти? Что делать? За что мне это?

Меня менты домой отпустили, врач в больнице хотел оставить, да я не захотел. Вышло так, что я не мог свою жену убить. А только следак крутить что-то начал сразу: не можем машину найти, свидетелей нет, никто ничего не знает. Как будто этих «Побед» тыщи штук в округе.

Я все бросил и начал искать сам. Машину я нашел в два дня. Подсказали добрые люди. Никуда не прячься, она стояла у крыльца райкома партии. Поперся к следаку, говорю, вот тебе машина, поехали, покажу, кто там был. А тварь эта нагло так: не твое дело, Петя, найдем, покажем для опознания, неизвестно, кто там был, следствие на верном пути, не мешайтесь. Тут я и понял, что от ментов мне помощи не будет. Поехал к тому райкому, не ближний свет, да дружок подсобил, дал мотоцикл на время. Поначалу я одного из той троицы встретил. Да как встретил, он сам на меня наткнулся, когда я стоял за углом и думал, где теперь пасса-

жиров «Победы» искать. Один на один хлопчик этот, Степка, не таким крепышом оказался. Отходил я его по первое число. Он и поплыл и сразу сдал дружков. Тот, что, по его словам, по голове меня оприходовал, в командировку уехал. А главный, Давыденко, живет тут рядышком, скоро дома будет. Один пока, жена на курортах. Бросил я этого Степку там, где беседовал с ним. Кто ж знал, что сломанные руки и отбитые почки помешают ему до утра на дорогу выбраться. Но выжил обалдуй, не судьба ему еще, наверное. А я, значит, пошел к главному домой. Сидел он уже на веранде, жрал водку в одну харю после тяжелого трудового дня. Так увлекся этим делом, что меня услышал, только когда я ему в ухо дал. Затащил его в дом, поговорили по душам. Не сбрежал Степа, признался боров, что Ниночка моя — его рук дело. Я этого Давыденко в доме и исполнил после того, как он признался. Удавил как клопа.

А наутро пошел и сдался ментам. Мне прятаться незачем было, я свое дело сделал и не жалел о том ни грамма. Оказалось, первый секретарь райкома от моих рук прервал свой большевистский стаж. Мне сначала хотели впаять пятьдесят четвертую статью, пункт девять, теракт против представителя советской власти, да только быстро свернулись, когда я им про Ниночку рассказал.

А по сто сороковой статье сильное волнение, вызванное нанесенной обидой, — всего пятерка. Сто сороковая у меня минут пять была, пока не прибежал начальник следака моего и не объяснил, что так у нас народ за пять лет срока пойдет пар-

тийцев душить направо и налево. И переделали все быстро на сто тридцать восьмую, там срок — десятка, да навесили за Степку сто сорок шестую, тяжкие телесные, до шести лет. Вот в итоге пятнашку и дали. Да я не в обиде, я и больше готов был отсидеть, лишь бы эта тварь в земле гнила. Жаль, третий в тот момент уехал, я бы и ему сто сорок шестую устроил за милую душу, со всем удовольствием.

Следака же, что искать его не хотел, только из прокуратуры выгнали. Родственник он этому Давыденко оказался.

Зато на зоне я и, считай, школу закончил, и даже в университете отучился. Не в настоящем, конечно, но преподавателей там было хоть отбавляй. И политики, и хозяйственники, и даже парочка убийц. Кто просто так, кто за услугу какую, а кто и за пайку лишнюю занимались со мной. Не могу сказать, что стал специалистом в немецкой классической философии, но про Шопенгауэра с Гегелем и Кантом в придачу, без хвастовства, разговор поддержать смогу. На что мне тот Шопенгауэр, ты спросишь? А чтоб было. Лишним знание не бывает. Так что у меня в голове всего понемногу бултыхается: и генетики отметились, и экономисты, и историки. Я только на зоне понял, что мне нравится учиться.

Глава 3

Четырнадцатого июня, как и в первый раз, передали по радио после обеда заявление ТАСС, заумное и многословное, но с хорошо понятным посылом: немцы, не верьте, мы хорошие и нападать не собираемся. Адам примчался на работу и вызвал меня в кабинет. Куда только девался тот снисходительно слушающий и скептически настроенный утомленный психиатр! Сейчас он чуть не подпрыгивал от нетерпения. Вопросы так и посыпались: когда начнется война, когда немцы придут, до куда дойдут, когда назад выйдут, да когда конец войне. Я и сам бы такое спрашивал. Видать, в тот первый раз Соломоныч не утруждал себя запоминанием сказанного мной и сейчас переспрашивал по второму кругу то, что я ему тогда говорил. Вот же засранец, а я тут соловьем пел, пытался пронять его, а усилия чуть даром не прошли. Ничего, теперь он мой с потрохами. Так что вопрос, как отсюда выбраться, больше не стоит. Адам и выведет, и поможет. Само собой, и оденет, и обует, без этого никак. Не в войлочных же тапочках мне по дорогам шагать.

Соломоныч все в Москву рвался. Надо, мол, ехать, встречаться со Сталиным. Или хотя бы с Берией.

— Сейчас набросаем по датам события, я сам расскажу о твоём уникальном случае. Тебя, Петр Григорьевич, еще в университетах изучать будут.

Доктор умотал выбивать себе командировку, а я сел за хронологию. Набросал начальный этап войны — благо прошел все ногами, Сталинградский котел, Курскую дугу, все десять сталинских «ударов». Подумал расписать про ядерную бомбу, но как такое доверишь бумаге?

На следующий день Соломоныч не явился, и шестнадцатого его не было. На работу пришел только семнадцатого. Весь бледный, уставший.

— Не верят мне! — тяжело вздохнул доктор. — Шутят, что психиатры сами становятся жертвами психов, мол, бред больных бывает таким убедительным... Вот, даже на аттестационную комиссию вызвали, на двадцать пятое.

Адам показал мне бумагу с вызовом.

— А я предупреждал, — все, что мне оставалось — лишь пожать плечами. — Но не переживай, двадцать пятого комиссии не до тебя будет.

— Надо еще какое-нибудь доказательство, — гнул свое доктор. — Какие там события дальше?

Я задумался.

— Вроде бы завтра или послезавтра начнутся раскопки гробницы Гамерлана.

В тюрьме со мной сидел один известный историк, взятый за убийство любовницы. Рассказывал, что на гробнице нашли надпись: «Все мы смертны. Придет время, и мы уйдем. До нас были

великие и будут после нас. Если же кто возгордится и вознесется над другими и потревожит прах предков, пусть постигнет его самая страшная кара».

Пересказал надпись Соломонычу: дораскапывались, потревожили прах, а потом вот вам кара — фашисты.

— Это не пойдет, — покачал головой доктор. — О раскопках писали в газетах.

Мы помолчали, раздумывая каждый о своем.

— Из НКВД насчет тебя звонили. — Адам тяжело вздохнул. — Спрашивают, когда будет заключение. Сказал, что случай сложный, требуются еще наблюдения.

— Пока мы ничего сделать не успеваем, — режумировал я. — Разве что... Езжай по знакомым, в синагоги, умоляй уезжать скорее всем в Киев, а оттуда дальше — на восток, на Волгу, в Среднюю Азию, куда угодно. Пусть равнины этим занимаются, кто там еще у вас есть авторитетный. У тебя времени на это не хватит. Любой ценой пусть вывозят детей. Евреи тебе поверят. Кто сейчас поедет, тот и жилье, и работу найдет. Потом такой поток будет, что люди рады будут хоть что делать, лишь бы с голоду не сдохнуть.

— Да, так и сделаю, — мрачно кивнул доктор. — А что, кстати, там дальше было с Тамерланом?

— Да Сталин его останки в сорок втором велел вернуть обратно в могилу — и сразу дела пошли в гору, в Сталинградский котел миллион немцев угодило.

Я развел руками, показывая, что всю эту мистическую чушь не следует воспринимать серьезно. Но Адам выглядел очень серьезным.

Двадцать второго все и началось, как в страшном сне. Вроде и ждал, не спал почти, и не сказать, что совсем войну забыл, а взрывы со стороны города как серпом по известному месту были.

Больные вскочили, загалдели, бросились к окнам. Над Львовом поднималось красное зарево. Взрывы продолжали грохотать, проснулся ревун воздушной тревоги.

Санитары, посоветовавшись, повели нас в подвал, который совсем не был оборудован под бомбоубежище.

А утром приехал мрачный Адам.

— Надо эвакуировать больницу!

Мы поднялись в кабинет врача, я подошел к окну. В синем небе плыли десятки самолетов с черными крестами. Шли на Киев. Или еще дальше.

— Главврач погиб при бомбежке на выезде из города, — тяжело вздохнул психиатр.

— Кто его заместитель?

— Теперь я, — еще раз вздохнув, ответил Соломоныч.

— Звони скорее, а еще лучше поезжай в горком. Задержимся — пропадем. И не вздумай вывозить больных железкой — ее бомбят больше всего.

— Поеду во Львов... — решил Адам. — Буду выбивать грузовики. Или хотя бы подводы.

В полдень прослушали выступление Молотова.
«Граждане и гражданки Советского Союза!
Советское правительство и его глава товарищ
Сталин поручили мне сделать следующее заявле-
ние.

Сегодня, в четыре часа утра, без предъявления
каких-либо претензий к Советскому Союзу, без
объявления войны германские войска напали на
нашу страну, атаковали наши границы во многих
местах и подвергли бомбежке со своих самолетов
наши города — Житомир, Киев, Севастополь, Кау-
нас и некоторые другие, причем убито и ранено
более двухсот человек. Налеты вражеских само-
летов и артиллерийский обстрел были совершены
также с румынской и финляндской территории.

Это неслыханное нападение на нашу страну
является беспрецедентным в истории цивилизован-
ных народов вероломством...»

Молотов говорил убедительно, напористо. Слушали его буквально открыв рты. Некоторые женщины-санитарки плакали. Дергая меня за рукав, замычал Вовчик.

— Да, брат, война началась... — Но он таких слов, наверное, не понимал, успокоился от того, что я с ним заговорил.

«...Правительство призывает вас, граждане
и гражданки Советского Союза, еще теснее сплю-

тить свои ряды вокруг нашей славной большевистской партии, вокруг нашего советского правительства, вокруг нашего великого вождя товарища Сталина!»

В этом месте один из санитаров не выдержал, тихо, буквально себе под нос спросил:

— Но почему не Сталин выступает?

На него зашикали.

«Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!» — шепотом вместе с Молотовым я закончил выступление.

Адам оказался просто никаким хозяйственником. Ни про еду, ни про транспорт, ни про прочие вещи, необходимые на марше, он не имел почти никакого представления. Соломоныч суетился, звонил начальству, но все без толку. Если и получалось связаться с высокими кабинетами, то в ответ он получал практически открытым текстом отлуп, мол, разбирайся сам, не до тебя сейчас.

К вечеру он совсем опустил руки. Оказалось, что часть персонала просто не пришла на работу, а часть из пришедших рассосались по домам. На работе осталась хорошо если треть. Зато пришел Иванко, хоть была и не его смена. Заявившись в кабинет к врачу, он заявил, что останется здесь и будет делать все, что надо. От кого угодно, а от гуцула я такого не ожидал. Иванко же и подсказал крепкого хозяйственника. Им оказался сторож, Василь Петрович, тот самый вислоусый дядька, которого я первым увидел из персонала больницы.

— Не усе життя Петрович був сторожом, —
рассказал Иванко. — Вин у ту вийну був ротный
старшина. Зараз погукаю, вин допоможе.

С приходом сторожа хозяйственные вопросы отошли на задний план. Получив ключи, он в сопровождении Иванко отбыл на ревизию. Мои сомнения, что сладкая парочка может все банально украсть, Соломоныч отверг:

— Я этого сторожа сто лет знаю, он крошки не возьмет. Дважды на моей памяти ворюг ловил. Пусть хоть этот занимается.

На следующий день, двадцать третьего, Адам выписал по домам всех, кого только мог. Лежачих стащили в одно отделение, оставив с ними персонал, медикаменты и продукты, в основном тех, кого не получилось бы забрать с собой. Да и персонала того осталось с гулькин хвост.

Когда я сказал, что немцы больных могут просто расстрелять, Соломоныч обиделся и сказал, что в любых зверствах должен быть предел, что больных расстреливать никто не будет, даже самые жестокие завоеватели. Все мои рассказы пошли побоку. Наивный интеллигент, эта шелуха с тебя быстро слетит.

В тот же день, ближе к вечеру, мы погрузились на подводы, и наша колонна двинулась на восток. Хотя одно название, что колонна. Восемь подвод, семь десятков ходячих больных, из них почти два десятка женщин, два врача, четыре медсестры и пять санитаров. Ну и сторож-старшина Василь Петрович. Вот и весь личный состав. Продуктов, если не шиковать, недели на две растянуть мож-

но. На голодном пайке — на три. Петрович признался потом, что и в больнице на лежачих осталось не больше.

— Соломоныч, надо воздушное охранение организовать, — стоило только взойти солнцу, как я подошел к доктору.

Уважения к психиатру я уже не испытывал — это же надо блудануть и повести нас на Дубно! Как же не вовремя я уснул! В итоге мы свернули на неведомой развилке не в ту сторону и теперь неспешно приближались к месту, где скоро развернется самое масштабное танковое сражение первого года войны. Почти Курская дуга. У меня была надежда, что мы успеем проскочить, но она таяла с каждой минутой.

— Охранение?

— Налетят «мессеры», худо будет.

— Мы гражданская колонна! — доктор скептически посмотрел на меня. — Мы самолетам не интересны.

— Там, сверху, не очень хорошо видно, — пожал плечами я. — Потом, эти твари просто развлекаться могут.

— Как это? — опешил Адам.

— А вот так. Они же нас за недочеловеков считают, почему бы не поразвлечься.

— Красная армия подобного не допустит!

Нет, каков идиот. Мозгоправ хренов. Сколько ему не рассказывай про то, что нас ждет, а он

хуже Вовчика иной раз, ничего не хочет понимать.

— Ты наши самолеты когда последний раз в небе видел?

Психи начали просыпаться, санитары засуетились, принялись выводить их по одному в кусты.

— Вчера.

— И чем бой кончился? Молчишь? То-то же.

— Велю на одной из подвод выложить крест из красных вещей! — Адам деловым шагом направился к врачам, что собирались в голове колонны у разоженного костра.

Я сплюнул на землю, все бесполезно. Кивнул Немому:

— После завтрака возьмешь железную миску и ложку. Сядешь в первой подводе. Если увидишь самолет впереди — начинай стучать. Ясно? — Надежды на Вовчика в качестве сигнала воздушной тревоги было мало, но другие больные были не лучше.

Дождался неуверенного кивка, пошел в конец колонны, оповещая окружающих о сигнале воздушной тревоги. На меня смотрели... ну как на психа. А как еще?

Позавтракав, мы выдвинулись на Дубно. Дорога заполнилась беженцами. Особенно много было евреев из местечек — люди ехали на странных фурах, брели в пыли босыми. Кого тут только не было — старики с пейсами и бородами, стайки чумазных ребят, женщины с испуганными глазами. Местами встречались модно одетые девушки, одна была даже с прической, завитая. Это волна

горя, сдернутая с прежней жизни войной, торопилась, неся свою беду дальше. Но торопливость до добра не доводила: на дороге эта неорганизованная толпа то и дело учиняла заторы, которые приходилось растаскивать.

Некоторые узнавали Адама, подходили его поприветствовать.

Два «мессера» появились внезапно. Спереди. Когда из облаков показались стремительно приближающиеся самолеты, движение колонны замерло, все с запозданием кинулись в стороны. Все, кроме больных. Эти столбами застыли у подвод. — ВОЗДУХ! — заорал я.

Вовчик застучал в миску. Бесполезно. Суетились лишь врачи, но не долго. Стоило первому самолету прострочить дорогу, как все попадали на землю. Я рванул в кусты на обочине, упал, закрывая голову руками. Больно ударившись локтем, скатился в какую-то канаву. Как оказалось, не зря. «Мессеры» скинули небольшие бомбы, они с грохотом взорвались одновременно по обеим сторонам дороги.

Поднялась пыль, слышались крики боли.

Я приподнялся — на дороге было месиво. Самолеты сделали разворот, еще раз прострочили дорогу пулеметами. После чего растворились в небе.

Трупы, трупы, фрагменты тел, горящие подводы — я брел вдоль колонны, пытаясь найти выживших. Было много тяжелораненых, они кричали, ползли к обочине.

Погибла почти треть персонала, но Адам выжил. Черный, весь в пыли и копоти, он метался по

дороге, оттаскивая тела. Я бросился помогать ему: перевязывать раненых, а пару раз пришлось и перетягивать жгутом ампутированные конечности, из которых хлестала кровь.

— Боже, Боже, — причитал доктор как заведенный.

К дороге стали подтягиваться беженцы. Они помогали с ранеными, кто-то взял в уцелевшей подводе лопаты и начал рыть могилы.

Последним мы нашли Вовчика. Немецкая бомба разорвала его на две части — отдельно грудь с головой, отдельно нижняя часть тела. Слизые кишки были припорошены пылью.

Адам, тряся подбородком, смотрел на это, не веря самому себе. Мне пришлось закрывать глаза парню, которые смотрели прямо в голубое, без единого облачка, небо.

— Прощай, Вовчик... — я тяжело вздохнул и тут же отвесил смачного леща доктору. — Подбери сопли! На тебя люди смотрят! Сейчас разбегутся — погибнут.

— Что же делать?

— Мертвых хоронить — кивнул в сторону пожилого еврея, что копал могилу. — Раненых — на уцелевшие подводы, идти быстро к Дубно.

Была у меня мысль раздать пострадавших по деревням, но, учитывая особенности местного населения, которое охотно пойдет на службу рейху, это все равно что отдать их напрямую фашистам на расправу. Да и кто сейчас возьмет себе на прокорм чужого, да еще и такого, что с головой не дружит?

Адам отшатнулся, в его глазах мелькнуло понимание ситуации.

Спустя пару часов мы все-таки смогли собраться, похоронить мертвых и подготовиться к дальнейшему движению. Остались у нас один врач, три медсестры и трое же санитаров. На шестьдесят два человека больных, из которых больше десятка были теперь и ранеными.

И тут нас настигла колонна военных. Впереди шел танк БТ-7, он тащил на прицепе за собой побитый броневедомоцикл. Дальше ехали полугорки с уставшими солдатами в кузовах.

— Кто такие?

Из кабины грузовика вылез рыжий майор с перевязанной бинтами головой.

— Эвакуируем больницу! — к военачальнику подскочил Адам, показал зачем-то окровавленные бинты. — Помогите! Нас бомбили!

— Что?! — почти прокричал майор. — Говорите громче, у меня контузия.

Выяснилось, что час назад колонна наткнулась на поваленное дерево. Пока оттаскивали его, машины обстреляли из соседнего лесочка. Военные вступили в бой, открыли ответный огонь, а с другой стороны дороги, из балочки, их закидали гранатами. Двенадцать погибших, семеро раненых. Что почти как у нас — девять трупов, одиннадцать побитых. Похоже, у Львова действуют диверсанты. Полк Бранденбург-800. Рассказывали нам про них. При-